



ИВАН СЛАДКИЙ

РОМАШКОВЫЙ ВЕНОК

рассказы

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Иван Сладкий
Ромашковый венок. Рассказы

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Сладкий И.

Ромашковый венок. Рассказы / И. Сладкий — «ЛитРес: Самиздат», 2017

ISBN 978-5-532-12728-9

Простые рассказы о дружбе и любви, интересных приключениях и неожиданных открытиях. Немного грустные, слегка наивные, но несущие хорошую энергетику и позитив. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-12728-9

© Сладкий И., 2017
© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Две сучки	5
Гамак	9
Ромашковый Венок	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Иван Сладкий

Ромашковый венок. Рассказы

Две сучки

В ординаторской было накурено. Дым уже резал глаза, но Михалыч, главный хирург нашей больницы, отмечая свой день рождения в узком кругу приближённых, одной из которых была я, а другой – операционная сестра Любаша, прикуривал сигарету за сигаретой, входя в пьяный раж. Говорили много и громко, травили дурацкие анекдоты, выпивали. Михалыча понесло, и остановить его уже не было никакой возможности: он перескакивал с одной байки на другую, делая виртуозные переходы от ностальгических сетований на трудности полуголодной юности к сентиментальным признаниям в любви ко всем врачам, фельдшерам и санитарам, как нашей больницы, так и мира в целом. Нас с Любашей он тоже хвалил, делал неуклюжие комплименты и неловко ухаживал, подливая шампанское через руку. Любаша шефа искренне обожала, я любила, как коллегу, и Михалыч, чувствуя это, постепенно перешел к интимным воспоминаниям. Ни для кого не секрет, как любят мужчины на излёте своей сексуальной жизни производить впечатление на хорошеньких женщин пошлыми рассказами о грехах бурной молодости. Хирург не был приятным исключением: так мы узнали много подробностей его не совсем счастливой семейной жизни. Любаша поддакивала шефу, я тоже, изредка кивая. Михалыч, как и всякий хорошо выпивший человек, рассказав что-то о себе, рассчитывал на ответную откровенность.

Про свою операционную сестру он знал практически всё, а значит, его требовательное внимание неизбежно привлекла я. Субординация, в этой ситуации, предполагала взаимность, но делиться чем-то личным мне не хотелось. Однако, отмалчиваться было бы совсем не вежливо, так что я наспех придумала историю о своем недавнем скоротечном романе, закончившемся, разумеется, бурным разрывом. Конечно, причиной не сбывшегося женского счастья стала моя работа, поздние возвращения, раздражимость, усталость и ревность, питаемая частыми ночными дежурствами. Михалыч слушал не внимательно, постепенно теряя, как я и надеялась, всякий интерес к перипетиям моей судьбы, но вдруг прервал мой монолог простым, но грубым вопросом.

– А ты не фригидная часом? – спросил он, неуловимо презрительно скривив рот, – а то во всём у тебя работа виновата. Знаешь, как оно бывает, почувствует мужик, что не хочет его баба, ну и всё, тоже интерес угасает.

– Нет, – ответила я, и, на всякий случай, надула губки. Обсуждать такие тонкости я уж точно была не готова.

– Девочки мои, – примирительно начал доктор, – не обижайтесь. И ты, Ириша, – обратился он ко мне, – послушай меня, старого хрыча, окажи милость, не сердись. Женская страсть – вещь непредсказуемая, загадочная даже, вы же медики, должны понимать. Тут вам и менархе, и менопауза, и беременность, и роды, да что говорить.. У мужиков сигнальная система, как светофор – на старт, внимание, марш! А у вас? Да с десятков факторов, только биологических, один другого сложнее. Такие подчас формы женская сексуальность приобретает, что .. ужас просто.

– И чем же сейчас удивить-то можно? – нарочито глупо хихикнула я, – в интернете всё есть. Хочешь, с собачками, хочешь – с кошечками. О садо-мазо и говорить не приходится, так, общее место. Футфетиш? Расхожая история. Групповуха? Нет проблем.. Это сорок лет назад

от вида голой щиколотки в обморок падали, – уколола я Михалыча, – а сейчас в четырнадцать у подростков все табу нарушены, и не по одному разу.

– Ну ясно, – закатил глаза хирург, – в СССР секса не было. Садо-мазо, говоришь? А вот, допустим, знаете ли вы, девочки, историю о близняшках?

Мы не знали. Михалыч залпом, для воодушевления, опрокинул в себя бокал коньяка, долго жевал шоколад с миндалём, делая вид, что припоминает важные детали истории, которую он собирался нам поведать, наконец, глубоко, с налётом легкой грусти вздохнув, неторопливо начал.

– История эта, – понизив голос для пушшего ужаса, произнёс Михалыч, – глубоко меня, тогда ещё очень даже молодого человека, потрясла. Услышал я её, – он ехидно покачал головой, скосив глаза в мою сторону – да, где-то лет сорок тому назад, будучи интерном, от своего руководителя. Врачом он был от бога, две войны прошел, повидал такого, чего нам и знать не полагается. Только вот о близняшках этих лишь раз мне рассказал, в сильном, как водится, подпитии, а после отрещивался, мол, пьяный бред, с кем не бывает. Но я думаю, история подлинная. Рассказывать буду, как сам услышал, от лица, значит, моего наставника.

«Старшую звали Розой, а младшую Лилией. Разница в возрасте у них была небольшой, с полчаса, и на внешности совсем не отразилась. Были они перепутано-одинаковые, как и все близнецы. Но вот характерами отличались, надо сказать, разительно, как легкий насморк от гнойной гангрены. Старшая служила врачом-гинекологом, бабой была властной, хваткой, грубой, вульгарной даже. Волосы красила всегда в демонический чёрный, стриглась коротко, много курила. Любила, чтоб помада цветом на артериальную кровь смахивала, ну и ногти, само собой, в ярко-алый красила.

Фигура у нее была – высший сорт, и любила, к тому же, как бы невзначай, прелести свои напоказ выставлять: кроме облегающих платьев с глубоким декольте не носила ничего. Сейчас этим никого не удивишь, а тогда настоящей женщиной-вамп считали, восхищались, вождедели, но побаивались.

Лилия, в отличии от сестры, выглядела чуть изящней, спортивней и ходила блондинкой, весёлой, легкой, немного отстранённой. Улыбалась всегда капельку виновато, хлопая подкрученными ресницами так, что мужчины, особенно в почтенно-молодящемся возрасте, с ума от неё сходили. Утончённой девушкой была, и в одежде, и в манерах. Если рта не раскрывала, то казалась почти совершенством. Не знаю, чем она занималась, подозреваю, что ровным счетом ничем, ведь содержала её сестра.

Жили они вместе, время проводили, надо полагать, тоже исключительно друг с другом. Замуж ни одна из сестёр не ходила, ни единого раза; кавалеров, особенно возле младшей, крутилось, впрочем, немало, но все без серьёзных намерений: в кино там ходили, в театры, рестораны любили, на природу выезжали, к морю. Лилию Роза одну никуда не отпускала: всегда вместе, всегда вдвоём. Даже солидные мужчины, при деньгах и связях, и те пасовали перед старшей сестрой. Конечно, возможность показаться в обществе шикарных близняшек многих прельщала, ну, а добирался ли кто до девичьих постелей, тут уж история, до поры, до времени, умалчивала.

Слухи, конечно, гуляли разные. За глаза на репутации близняшек ставили жирный крест. Женщины, сплетничая о сёстрах, многозначительно хмыкали, мужчины скабрёзно улыбались, но все единодушно сходились во мнении, что красавицы-близняшки ведут тайную жизнь, полную разврата. Иногда Лилия пропадала, в том смысле, что сидела дома – в свет не выходила, бывало и по несколько месяцев. Роза объясняла затворничество сестры намёками, ссылаясь на обострение некоей нервной болезни. Впрочем, когда Лилия снова выпархивала из добровольного заточения, то казалась похорошевшей, помолодевшей, весьма довольной собой и белым светом, так что вскоре на её приступы домоседства перестали обращать внимание.

Специалистом Роза была неплохим, средним. За гинекологами в то время был особый надзор – аборт-то были запрещены, подпольные операции преследовались жёстко, по-сталински.

Арест сестёр стал событием необъяснимым, а потому зловещим. Никто ничего не понимал, кто-то считал близняшек шпионками, кто-то вредителями, поговаривали, что заприметил их сам товарищ Берия, а они ему отказали, но и это оказалось чушью. Главного врача больницы сразу уволили, начальника гинекологического отделения тоже чуть не посадили. Вскоре Лилия умерла, не дождавшись суда, в следственной тюрьме, а Розу приговорили к десяти годам лагерей. Суд был закрытым, и канула бы эта история в неизвестность, если бы следствие по делу не вёл мой однополчанин.

Встретились мы с ним как-то на девятое мая. Сталин уже помер, многое в стране менялось на глазах. Посидели мы неплохо, вспомнили войну, боевых товарищей, и незаметно перешёл разговор, как часто тогда бывало, на тему репрессий. Тут и вспомнил я о сёстрах. Спросил прямо – их то за что? За красоту, что Берии не досталась? Мой товарищ, а сталинист он был убеждённый, кондовый, неистовый даже, аж затрясся, и говорит, мол, не имею права разглашать, но, чтобы спесь твою надменную сбить, придётся. Вот его рассказ, слово в слово:

Сёстры росли дружно, спали в одной постели, в общем, любили друг друга. Однажды взаимная нежность приобрела физическое воплощение, и с тех пор отношения с противоположным полом перестали интересовать обеих. Конечно, в нашем мире без мужчин не прожить – всё в их руках. Сёстры не брезговали проституцией, но очень нечасто, и только с очень простыми людьми, боясь огласки, разумеется. Гонорары им платили баснословные, сам понимаешь, с двумя красавицами сразу, да ещё близняшками..

Лилию я допрашивал один раз, накоротке. Она тупо кивала на мои вопросы, вымученно улыбалась и молчала. С Розой, напротив, беседовали мы долго, обстоятельно. Вменили ей производство нелегальных аборт-ов, но суть дела не в этом, аборт-то она только сестре делала.

В общем, такая уж история их связала. Спали они друг с другом ещё с юности. Верхововодила в отношениях Роза, младшая сестра подчинялась ей во всем, беспрекословно. Со временем, игры их становились все изощрённее, дамы опытнее, и все бы хорошо, однако любовная связь омрачалась одним обстоятельством – Лилия не испытывала оргазма, ни с сестрой, ни с мужчинами. Ну да этим никого не удивишь, а невозможность экстаза Роза постепенно стала компенсировать наказаниями и болью – хлестала сестру плеткой, таскала за волосы, связывала. Той вроде нравилось, так и жили.

Пока однажды Лилия не забеременела.

Ребенок в такой семье шансов на рождение, конечно, не имел. Но то ли Лилия скрыла свое интересное положение от сестры, то ли ещё что, не знаю, но доходила она беременной аж до шести месяцев. Роза, разумеется, аборт-ы делать умела. Для умерщвления и извлечения плода в то время применяли щипцы, жуткого, средневекового вида, с двумя лопатками, и длинной спицей между ними. Вонзалась эта спица прямо в головку ребёнка, чтоб убить, расчленив и вытащить его из женщины уже мёртвого. Так вот, рассказывает она мне, что раскрыла сестре шейку матки, залезла щипцами в её утробу, захватила младенца. И в тот момент, когда воткнула Роза это стальное жало в головку своего нерождённого племянника, биться тот начал, извиваться в предсмертных конвульсиях, а Лилия закричала, но не от боли – от удовольствия. Не знаю, что с ней было не так, но, по словам старшей сестры, такого умопомрачительного оргазма она сама никогда не испытывала и у других не видела. Пока ребенка расчленили и вытаскивали, младшая сестра, по свидетельству Розы, оргазмировала не прекращая, пока ей всю матку не выскоблили. .

Патология эта такая редкая, что медицине почти незнакома. Как врач, Роза понимала, что постоянно беременеть и делать аборт-ы сестре нельзя, но вот ведь какой сучкой оказалась – чуть ли не принуждала Лилию к этому. Видимо, и сама сильное удовольствие испытывала,

производя аборт, садистка. В общем, за неполные семь лет тринадцать детей сгубили, беременела Лилия легко, да и последствий от операций долго не наступало. Угрызений совести ни та, ни другая не испытывали, жили в свое удовольствие.

Всему однако, приходит конец. Тринадцатый аборт вызвал сильную кровопотерю, да такую, что справиться с ним Роза не смогла. Испугалась, побежала за помощью, тут и вскрылось злодейство. В тюрьме близняшек в одиночках держать пришлось, опасались, что в общей камере растерзают их. Лилия увяла быстро, умерла от вновь открывшегося кровотечения, во сне. Роза пошла по этапу, в северные лагеря, и следы её, кровавые, занесло уже давно колымским колючим снежком»».

Именинник, явно довольный своим рассказом и произведённым на нас впечатлением, взял паузу, чтобы наполнить фужеры. Любаша и я молчали с полминуты, а потом внезапно, не сговариваясь, горько заплакали. Михалыч оторопел, обескураженный нашей чувствительностью, подогретой тёплым шампанским, принялся было торопливо извиняться, но успокоиться мы не могли, и разошлись, хлюпая носами и вытирая салфетками потёкшую тушь.

Гамак

Грустный заброшенный дом стоял посреди восхитительно густого, почти непролазного фруктового сада. Кроны деревьев переплелись намертво, и тень от них, даже в самые безоблачные дни была густой, без единого намека на малейший солнечный проблеск. Жители посёлка дом этот недолюбливали. Таинственный обитатель полуразвалившийся хибары, молчаливый седой старик, часто неопрятный, всегда отрешённый и задумчивый, выходил из своего жилища лишь по крайней нужде, годами скрываясь в дебрях своего таинственного сада. Мальчик Максим, двенадцати с половиной лет, остроглазый, шустрый, немного взбалмошный, но добрый, считал деда колдуном.

Друзья Максима, шумной ватагой носившиеся по пыльным дорогам, у дома этого смолкали, и с жадным интересом всматривались в заросли сада, переглядываясь. Немногие смельчаки рискнули на вылазку по ту сторону забора. Хотя штакетины совсем сгнили, изгородь приходилось штурмовать из-за колючей бузины, рвать футболки и до крови расцарапывать острые локти и грязные коленки.

Эти жертвы, впрочем, никогда не были напрасны. В саду можно было до отвала наесться яблок, малины, вишни, поваляться в густой, всегда влажной траве, и, самое главное, пробраться как можно ближе к дому, чтобы попытаться заглянуть в мутные, потрескавшиеся стёкла окон, в надежде увидеть что-нибудь загадочное.

Ничего, кроме самой простой обстановки, разглядеть не удавалось. Мебели в доме, единственная комната которого была обитаема, как таковой не было. Русская печь, с потрескавшейся, местами обвалившейся штукатуркой, огромная поленница дров, ведро с водой, стол со стулом – вот и всё, что удавалось рассмотреть ребятам. Кровати у деда не было, а спал он в огромном гамаке, растянутом почти на всю ширину комнатухи.

Однажды, на расспросы Максимки о хозяине старого дома, отец, насупив брови, покачал головой и, без особой охоты, рассказал, что дед этот не местный, пришлый, взялся из ниоткуда, да и поселился в заброшенном доме, что живёт в нём довольно давно, но даже соседи его толком не знают. Участковый, старый отцовский знакомый, поговорив с дедом с полчаса, пояснил потом любопытствующим, что документы у того в порядке, что спокойный он, тихий, мешать никому не будет, так и пусть себе старость доживает. Дом с садом раньше принадлежал одинокой женщине, а после её смерти так никому и не достался.

В местный магазин дед ходил не часто, но покупал всегда помногу, с трудом потом таща накупленную снедь до своего убежища. От помощи всегда отказывался; нервно мотая из стороны в сторону копной седых волос, хрипло выдыхал: «Не надо».

Даже имени его никто не знал. Звали дедом, и всё. С почты приносили пенсию, раз в месяц. Дед расписывался в получении через полуоткрытую дверь, в дом никого не пускал.

В конце июня, в самую жару, возвращаясь из магазина, дед упал, прихватило сердце, и был доставлен домой каретой скорой помощи. Соседка Максимки, дородная тетя Нюша, категорично заявила его матери, что не жилец этот дед, не встанет больше, так и помрет в своей лачуге. Максимке стало так жалко одинокого больного старика, что вечером того же дня он, собрав нехитрый гостинец, отправился, не смотря на робость, к заброшенному дому. На стук в дверь никто не ответил и Максимка заглянул в окно. Дед спал, раскинувшись в гамаке наподобие морской звезды, широко распластав во все стороны худые руки и ноги. Лицо его, изрезанное сеткой мелких морщин, сияло из-под спутанных прядей нечёсаной бороды неземным блаженством, он широко улыбался, растягивая в тонкую нить свои бледные синеватые губы. Максимка оторопел, а потому так сильно прижался горячим лбом к ледяному стеклу, что оно не выдержало, и предательски, неожиданно громко, хрустнуло. Дед очнулся от сна и грозно

установился на окно, за которым Максимка, полумертвый от страха, переминался с ноги на ногу. «Кто ещё там!» – закричал дед, и гамак заходил под ним ходуном. Максимке захотелось убежать, но страх обездвигил его и цепко удерживал на месте. «Кто, говорю!» – раскачиваясь в гамаке, хрипел дед – заходи уж тогда, отперто!». Максимка постоял ещё немного, затаив дыхание, потом сделал несколько шагов к двери, выдохнул и открыл её.

Дед, оглядев мальчика, пришел в ярость.

– Ты кто такой? – спросил он, выругавшись.

– Максим, – ответил мальчик дрожащим голосом, – я тут.. недалеко живу.. рядом с Вами.

– И зачем пришёл? Чего надо?, – дед был явно недоволен, что его потревожили, – какого лешего?

– Вы это, заболели, – начал мямлить Максимка, сжимая в руках пакет с едой, – и я, это, ну решил, вам поесть принести, или чего там Вам ещё может, нужно будет.

Дед пристально взглянул на мальчишку, вздохнул, откинул голову на старую вытертую подушку, и замолчал.

– Ладно, – наконец выдал из себя он, – садись, вон, там, у печки.

– Ага, – быстро согласился Максимка, и, положив принесённые дары на стол, аккуратно опустился на край ободранного табурета.

– Мамка послала? – дед приподнялся на локте, и гамак снова пришёл в движение, – так у меня всё есть, и еды и воды хватает.

– Это да, – неуверенно сказал Максим, – я вижу, а.. почему дверь у Вас незапертая?

– Помру потому что скоро, – буркнул дед. – Чтоб не ломали, – пояснил он и задумался. – Тебе сколько лет, мальчик?

– Четырнадцать, – соврал Максимка, сам не зная, зачем, – почти пятнадцать.

– Да? – дел потер лоб, – совсем взрослый, значит. Хорошо. Есть тогда к тебе дело одно.

Широко раскрыв глаза от неожиданного предложения, Максим подался вперёд, чуть не упав с табурета.

– Я как умру, – спокойно сказал старик, – ты деньги мои себе возьми. Там они, за печкой, найдёшь. Тебе много на что хватит. Только это не запросто так, мальчик. Пообещай мне выполнить мою последнюю волю. Как помру я, значит, заберёшь этот гамак, и сожжёшь его. Договорились?

– Ну.. – мальчик недоуменно посмотрел на старика, – ладно, а зачем сжигать-то?

– Сожги! – чуть не закричал дед, побледнел и шумно задышал, – ты тупой что ли? Хочу, чтоб так было! Моя это вещь, понимаешь? Не хочу, чтоб другие ей пользовались, и точка..

Старик закашлялся, потом вдруг неожиданно ловко сел в гамаке и свесил ноги на пол. Попросил воды и Максимка подал ему полную кружку. Дед пил мелкими глотками, вздрагивал и кряхтел.

Максимка рассматривал гамак. Тот действительно был огромным, длиной во всю комнату. Верёвки, с палец толщиной, переплетаясь друг с другом хитрыми узлами, по обе стороны крепились к широким коричневым кожаным планкам, от которых, в свою очередь, отходили ещё более толстые верёвки, сходящиеся вместе, в один узел, в центре которого тускло блестело большое, с кулак, медное кольцо. В противоположные стены узкой комнаты были вбиты ржавые железные крюки, державшие кольца гамака. Он казался таким широким, что даже втроем спать в нём было бы совсем не тесно.

Заметив, что Максимка изучает его постель, старик улыбнулся, почти ласково.

– Нравится? – спросил он, – жалко сжигать, да?

– Хорошая вещь, – обстоятельно, как взрослый, подражая отцу, ответил мальчик, – могла бы ещё пригодиться.

– Нет, – упрямо возразил старик, – не сможет. Вещь, конечно, стоящая, сделано на совесть. Натуральная пенька, кольца из чистой меди. За тридцать лет не рвался ни разу, правда,

пролежал на чердаке двадцать пять.. Что смотришь? Думаешь, что в этом доме нет чердака? Конечно, ведь это ж не мой дом. Думаешь, я больной и нищий старик? Да, сейчас так и есть. Но тридцать лет назад, почти что в это же самое время, жили мы с женой на побережье одного далекого острова, такого далекого, что в этой деревне о нём и знать не знают. Однажды, во время прилива, выбросило этот гамак на берег, видимо, с яхты какой-то ветром унесло. Я его подобрал и домой привёз, думал, сгодится для отдыха. Но закружила жизнь, и валяться мне в этом гамаке, видишь, только в старости пришлось. Дети родились, один за другим, работал я много – в праздности, как сейчас, минуты не провёл. Прожили мы с женой хорошо, в любви. Только детей избаловали сильно, но это тоже от любви, понимаешь? А потом умерла она, и выставили дети меня из моего же дома, чуть в психушку не отправили, еле сбежал. Вот и пригодился мне этот гамак, мальчик. Люблю я его, спится мне в нём хорошо. Сладко так спится, будто умер я уже. Сны снятся по-райски яркие, чудесные. Про жизнь минувшую, про счастье, про перьевые облака на закате, про юное дыхание зелени ранней весной, про.. эй, да ты спишь, я вижу. Эй, Максимка!

Мальчик и вправду вздремнул под монотонное бормотание старика, даже сон ему какой-то стал сниться. Встрепенувшись, Максим протёр глаза, посмотрел вокруг с удивлением, и засобирался домой.

Старик замолк и, улыбаясь, раскачивался, сидя в гамаке. Максимка заверил его, что обещание свое непременно выполнит, раз деньги ему завещаны, и, жутко довольный открывающимися перспективами, побежал домой, на ходу мечтая о новом велосипеде, а может, и скутере, ведь кто знает, сколько там, у деда, за печкой.

Больше этого загадочного человека он не увидел. Отправился дед по-обычаю в магазин, да прямо у прилавка и умер. Вечером об этом рассказывал отец, и Максимка весь изъёرزался, нервно торопя окончание ужина. Отпросившись на улицу, и еле отбившись от встретивших его соседских ребят, он, с колотящимся сердцем, побежал к заброшенному дому.

Дверь была запечатана полицейской бумажкой с ярко-синей печатью. Робость, строгим отцовским голосом, приказала Максимке тут же вернуться домой, но мечты о скутере настойчиво, звонкими голосами деревенских подружек, гомонили нестройно, что ничего страшного с ним не случится. Собравшись с духом, и на всякий случай быстро перекрестившись, Максимка сорвал бумажку, сильно толкнул хлипкую дверь. Очутившись внутри, с порога осмотрелся. Гамак слегка покачивался, видимо, от гулявших по дому сквозняков, а в комнате, судя по свежим следам на полу, и разбросанным вещам, совсем недавно побывали люди. Максимка замер от предчувствия неудачи. Он долго шарил за печкой, весь измазавшись в побелке, по поленьшкам разобрал всю дровеницу.. Денег никаких не было. Мальчик сел на гамак, и, от расстройства, почти заплакал. Сидеть было неудобно, поэтому он лёг, думая, сквозь наваливающийся сон, о несбывшихся планах.

Максимку искали почти сутки, нашли только на вторые, хотя и участковый, и родители потом недоумевали, отчего же сразу не обыскали этот заброшенный дом. Нашёл мальчишку местный пожарный, решив поначалу, что Максимка мёртвый. Спал он и вправду, как убитый, так что в местной больнице, с трудом его разбудив, родителям сразу сказали – мол, вовремя вы его нашли, ещё бы немного, не спасли бы. Что да как, выяснять не стали, посчитав, что нашёл, небось, мальчишка спиртное у деда, да и выпил, хотя разводили руками, не зная, чем бы это таким могло быть, что усыпило Максимку так надолго. Мальчик со слезами на глазах клялся родителям, что ничего в доме не находил, но ему не поверили, списав всё на подростковую хитрость и страх перед наказанием.

Через пару дней дом основательно заколотили. Нехитрые дедовы пожитки выбросили, гамак же, как единственно ценную вещь, отдали одной женщине, многодетной, бедной, чтоб дети её не на полу спали.

А потом в деревню приехали из района следователи, забрали эту непутёвую мать в тюрьму. Позже она, правда, вернулась. Арестовали женщину потому, что нашли детей её маленьких, всех троих, утром мёртвыми. Сначала думали, может задушила она их, или отравила, или ещё что. Пьющая она была, сильно, жила без мужа, чудила.. Потом только участковый рассказал по секрету отцу Максимки, что убийцей гамак дедовский оказался, не мать. Экспертиза показала: отравились дети наркотиком редким, и жутко дорогим. Такого не то что в райцентре – в области нет. А может и в Москве. Отправили гамак, на котором Максимка двое суток проспал, тоже на экспертизу. И точно: все верёвки оказались наркотиком этим пропитаны. Вот только деду сны чудесные снились, а Максимка мог и не проснуться. Маленькие же детишки, вечно голодные, стали, видимо, веревки гамака посасывать, и, наглотившись этой дряни, представились. Откуда у деда взялся этот гамак, знал ли он об его опасной природе, или нет, выяснить не удалось. Отец Максима, слушая участкового, шумно удивлялся, мать тяжело вздыхала, мальчик же, уныло подперев рукой щеку, неспешно думал, что, найди он деньги, гамак бы обязательно сжёг, а значит, и детишки остались бы живы, и он – со скутером.

Ромашковый Венок

– Да тащи, клюет же,– Чортяка привстал с раскладного стула,– тащи, говорю.

Я не спешил. Тут всё дело в технике, подлещик может сорваться с крючка, если потянуть сразу. Нужна подсечка резкая, хлёткая, чтоб наверняка. Я дёрнул удочкой; подлещик сверкнул мокрой чешуей на солнце и упал в траву, изогнув хвост. Я снял его с крючка и отправил в ведро, где лежали уже с десятков свежепойманных рыбин. Чортяка опустил на стул и заулыбался. Он считал меня рыбаком никудышным, но на редкость удачливым. Я, в свои четырнадцать лет, с ним не спорил.

Этим летом отец отправил меня к бабке по материнской линии на целых три месяца. Как военный человек, он считал такой отдых предосудительным и бесполезным. Поэтому, в другие годы я приезжал к бабушке не дольше чем на неделю, проводя остальные каникулы в пионерском лагере. Зарница, построения, и другие военизированные игры отцу, с точки зрения моего воспитания, и как старому солдату, нравились больше, чем сытные бабушкины пирожки, наваристый борщ, послеобеденный сон и ленивое ничегонеделание целыми днями.

В этом году он вдруг засобирался жениться на своей старой знакомой, выйти в отставку, и переехать к жене на Дальний Восток, вместе со мной, разумеется. Мать моя умерла при родах, отец растил меня один. Бабушка, при таком раскладе, становилась недоступной роскошью, так как ехать к ней в деревню под Киевом пришлось бы через всю страну. Отец наказал мне с бабушкой проститься, так как считал, что больше я её не увижу, и дал на прощание три месяца.

Бабушка была уже старой, но совсем не дряхлой. Ходила она с некоторым трудом, что, впрочем, не мешало ей целыми днями заниматься домашними делами, коих с моим приездом прибавилось. Обьедался я и вправду так, будто в последний раз. Мальчишек и девчонок моего возраста в селе не было, да и само село было полуживым, почти заброшенным. Близость столицы соблазнила почти все молодые семьи перебраться поближе к цивилизации, остались одни старики. Делать мне было нечего, и после завтрака я шёл на речку рыбачить, до самого обеда, а после обеда – до самого заката.

– Смотри, смотри,– заорал мне Чортяка,–опять клюет.

Еще одна рыбка. Хорошо, бабушка обрадуется. Сначала она опасалась, что я пропадаю на речке целыми днями, но мой каждодневный улов заставил бабку и, в особенности, двух её кошек, гордиться мной. Мой товарищ по рыбалке, или как его презрительно называла бабушка, Чортяка, был стариком, низеньким, жилистым, с дочерна выгоревшей от солнца шеей и рваным грязным треухом на голове со звездой на кокарде, который он никогда не снимал, даже в самую жаркую погоду.

Жил Чортяка в лесу, недалеко от хутора, в большом бревенчатом доме, давно пришедшим в запустение. Как-то раз мы пошли к нему за леской, и Чортяка пригласил меня выпить самогона. Я отказался, а когда рассказал об этом бабушке, та вздохнула, покачала головой, и налила мне за обедом целую стопку. Выпить её я не смог, оплевавшись с непривычки. Бабушка одобрительно покивала, видя мою неопытность, и больше не беспокоилась.

Рассказывал Чортяка о себе и своей жизни охотно, образно, с дрожью в голосе, отчаянно жестикулируя. Самогон у него был с собой всегда, в маленькой бутылочке, четвертинке. Отпивая мутную жидкость маленькими глотками, к закату Чортяка прилично пьянел, сползал со стульчика в траву и засыпал. Уходя домой на закате, я, чертыхаясь, сматывал его рыболовные снасти, и небрежно кидал их рядом с храпящим стариком. Каждый раз я был уверен, что завтра, придя на речку, застану Чортяку спящим на траве. Однако, каждое утро он бодро приветствовал меня, сидя перед уже закинутыми удочками, улыбаясь беззубым ртом и помахивая новой четвертинкой.

Все рассказы Чортяки сводились к его участию в войне. Он подвирал в деталях, часто повторяясь, и я слушал вполуха, что жутко его расстраивало. Я начал подозревать, что рассказывает он истории по большей части выдуманные, так как, со временем, несостыковок в его военных байках стало неприлично много. Я спросил у бабушки, не врет ли он, но та отмахнулась, говорить о Чортяке ей почему-то совсем не хотелось.

– Знаешь, что, – старик отхлебнул самогона и икнул, – вот ты мне, как сын военного, скажи, почему твой батя не женился?

Женщины волновали Чортяку. В его рассказах всегда было место любовной линии, себя он представлял то героем-любовником, уставшим от женского внимания, то повесой, не знающим отказа.

– Из-за табе, – он закурил, – штоб ты, значит, без мачехи рос. У меня, вона, детей не было никогда, а если б и были, в жизнь к ним чужую тётку не привел бы.

– Женится отец, – сказал я с деланным вздохом, – с мачехой жить придётся.

– Опаньки, – удивился Чортяка, – скока же твоему батю годочков-то?

– Тридцать четыре, – ответил я, – или тридцать пять.

– У, – засмеялся старик, – это старый совсем, женихаться-то. Я вот женился рано, и двадцати еще не было. А что невеста? Молодая?

– Да так, – пожал плечами я, – не старая.

– Эх, – с досадой сказал Чортяка, – женится на молодых, здоровых нужно. Чтоб кровь бурлила, а мозги ещё на место не встали. Тогда интересно жить будет, и под себя бабу воспитаешь, – он задумался. – Хотя по мне, сколько бабу не ***, все на чужие *** смотрит. Натура у них такая, блядская.

Я поёжился. Мне, московскому мальчику, такие разговоры были неприятны. Чортяка, видя мое смущение, распялялся все больше, поминутно отпивая из горлышка самогон.

– С девками здешними похорошиться тебе никак не выйдет, – заметил он, – а всё потому, что нету их, в городе все. Одни бабки остались, так они и для меня староваты, – хрипло хохотнул старик, – а когда-то по селу не пройти было, чтоб шею не свернуть – всюду девки гарные, одна другой лучше. Хохлушки, они знаешь какие? Как на подбор, сисястые, жопастые, ладные. Норовистые, конечно, но я норовистых люблю, слаще они, как сдадутся, – Чортяка подмигнул мне, допил остатки своего пойла и выкинул бутылку в траву. Он был пьян, но спать не валился, сидел на своем раскладном стульчике, раскачиваясь взад-вперёд.

– Я, – начал он свой рассказ, – женился на вдове. Олесеи звали, навроде Алёны по вашему, по-москальски. Дородная была, с грудями такими, шо дух перебивало. Высокая, сильная девка. Мужа ейного в драке зарезали, но она и не любила его, со мной сошлася сразу. А я лесником робил, жил на хуторке, почти что в лесу, значит. Привёл её к себе, а дом-то у меня большой, сам видел, хозяйство завели, значит, всё чин-чинарем, жили неплохо, хоть постарше она меня была, но слушалась во всем, уважала.. Я-то хозяин зажиточный был, хоть и молодой, осталось кой-чего от родителей.. Охотником был ещё хорошим и рыбаком, мяско с рыбкой не переводились на столе.

– Только тут война пришла, – свернул на любимую тему Чортяка. Он был уже мертвецки пьян, его бормотание я различал с трудом, – в армию, значит, собрался было я, тут немцы на наш хутор вышли. Офицеры, молоденькие, всего четверо, да два денщика при них. Чуть не расстреляли меня, по-началу, как на постой встали. Кур всех поели, свиней, все запасы слопали. Ну, ясное дело, солдатня, голодная. Стали, конечно, и к Олесеи моей приставать. Я, ясное дело, ей не защитник, куда там супротив шмайсеров.. вот и стали глумиться над нею, фашисты. То один по ляжке погладит, то другой за сиську щипнёт. Шнапсу перепьются и давай к ней лезть, да всё с хохотом своим гавкающим, будь он не ладен.

Однажды прямо под юбку к ней полезли, я не стерпел, взвился на них. Побили меня, так, что кровью харкал неделю. А Олесеику насильничали, по-очереди. Я как узнал, жизни лишить

себя хотел, но слёг в горячке, в бреду, значит, валялся, себя не помнил от горя. А эти ублюдки давай её терзать, каждый день, да ещё всем скопом. Лихо пришлось моей Олесеньке – гордая она была, – старик заплакал. Я замер, слушая такие неожиданные откровения Чортяки.

– Сбежать бы ей, – хлюпал он носом, размазывая слёзы по впалым небритым щекам, – может и приютил бы кто. Да меня бросить не могла, любила сильно. Так и терпела. А выродки эти всё не унимались, то в бане с ней запрутся, то голой её по лесу гоняют.. Придет ко мне моя Олеська, и плачет, и жизнь свою клянет, а у меня сердце разрывается, думаю, загрызу собак этих, немцев. Да только сил нет у меня никаких, валяюсь я, немощный, того и гляди, богу душу отдам.

– Только всему предел есть, – Чортяка поднял на меня свои испытые голубые глаза и угрожающе засопел. Шея его стала багрово-черной, желваки перекатывались под кожей как огромные подшипники, на лбу выступила испарина. Он сжал худые кулаки и привстал, – вот и Олеся не вытерпела. Стала притворяться, что нравится ей такая жизнь, прости господи.. Они-то и расслабились. Говорит она им как-то, пошли, мол, на поле, покуролесим, в стогах-то. А сама сплела из ромашек веночек, толстый такой, в три пальца толщиной. У нас такие венки женихам дарили, навроде как признание в любви. Пришла ко мне: прощай, говорит, прощай! Нет сил терпеть больше. Я-то думал, может, сбежать решила. А она в веночек этот, девичий, серп свой запрятала, без ручки только, одно лезвие, чтоб не заметно было. Вышли они значит, на поле. Она голая, в веночке одном. Красивая, как смерть. Немцы-то тоже форму посбрасывали, голыми остались, без парабеллумов своих, и давай её ***, все четверо. Один значит, спереди, другой сзади, ну, сам понимаешь.. Другие два надрачивают, очереди ждут. Тут Олеська изловчилась, достала из веночка серп и давай им по причинным местам орудовать, все муди им срезала, под корень, она-то с серпом лихо управлялась. Забегали немцы по полю, а кровь так и хлещет у них между ног во все стороны. Один аж до хаты добежал, на крыльце упал, помер. Денщики как увидели, что Олеся с насильниками своими сотворила, выскочили, да и забили её лопатками саперными. Живого места на ней не оставили, всю искромсали. Заставили меня потом, полуживого, трупы этих офицеров хоронить. И Олесю, родиночку мою. Вон там, – Чортяка махнул рукой в направлении поля, – все они и лежат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.